

Венки на могилы

Вступительная заметка Сергея Юрского

Его нельзя не заметить. Кому случается ходить пешком по Садовому кольцу в районе Большого и Малого Казенных переулков, тот непременно его видел. Он на голову выше прохожих. Молодежь сейчас рослая, встречаются и баскетбольного роста ребята. Так тех он вдвое шире в плечах. Шагает крупно. В могучей руке несет он... портфель. Неожиданно! Ему бы меч или дубину... Ничего в его внешности не рифмуется с этим портфелем. Хотя, нет! Очки! Просто сперва вы их не заметили на широком лице.

Это Кораллов Марлен Михайлович, проведший молодость в казенном доме, а теперь проживающий на свободе в Казенном переулке (надо же, какие рифмы жизнь предлагает!). Филолог, ЗК, литературовед, театральный критик, публицист, социолог, член “Мемориала”, член Российского ПЕН-клуба... Что еще? Пенсионер. Ну кто же не пенсионер в восемьдесят лет?

Еще три цифры надо будет назвать, чтобы разговор покатился, — 49, 25 и 55. Сорок девятый — это год, когда весенним днем пришли незнакомые дяди и увели молодого человека в свои кабинеты с толстыми стенами. Двадцать пять — такой срок ему дали по 58-й статье с самыми зубодробительными и безнадежными ее пунктами. А дали по доносу хорошо знакомого человека — всего-навсего за вольные высказывания. Время было такое, слово дорого ценили, полжизни могли за одно слово отнять, а то и всю жизнь. Ну а пятьдесят пять — это перемена глобальная, год пятьдесят пятый — свобода и реабилитация.

“Мне повезло! — говорит Марлен Михайлович. — Кто бы я был без лагеря? Недоучка и дурачок. А то, что срок был на полную катушку и я был отнесен к особо опасному контингенту — еще раз повезло: каких людей я там встретил! С кем ТАМ сошелся, это на всю жизнь. Если бы попал к шпане и к мелкоте... не устоять. Одного бы убрал, второго, третьего, может, и четвертого, а внятером убрали бы меня”.

С тех пор особый, пристальный интерес к той литературе, что связана с проблемой “тюрьмы и воли”. Кораллов пишет статьи не только о португальской прозе и древнеиндийской драме и не только театральные рецензии. Из самого важного для него — предисловие и послесловие к двум книгам “великого сидельца” Олега Волкова, выдающегося писателя, в полную меру отмахавшего свои четверть века с лишком. Из самого определяющего в жизни — дружба с Чабуа Амирэджиби. Чабуа вспоминает в одной из своих статей, как Марлен принимал и спасал его в Песчанлаге — одном из самых страшных лагерей. Вспоминает Амирэджиби и другое: через годы, уже на воле, именно Кораллов способствовал переводу на русский язык и выходу в свет его романа “Дата Тутаихиа”, ставшего мировым бестселлером. Отсюда же взаимный интерес и сближение с Е.С.Гинзбург, о поразительной книге которой — “Крутой маршрут” — не раз писал Марлен Михайлович. Отсюда брала начало многодесятилетняя дружба с Симоном Маркишем — оригинальным и выдающимся мыслителем, сыном расстрелянного в 52-м году еврейского поэта Переца Маркиша. Симон в 50-е годы — ссыльный тех же казахских степей. Конечно же не только из родственных связей, но из сходства судеб непреходящий интерес к творчеству Юрия Домбровского... Список велик!

На вопрос: “Кто вы по образованию?” — М.М. должен ответить: “Филолог. Германист”. В молодые годы все начиналось с обязательных Гете и Гейне. Но потом волею обстоятельств другие фигуры оказались в центре внимания, им он остался верен и по сей день.

В каждом советском городе рядом с проспектами Ленина и Кирова были обязательные и неперенные улицы Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Советский Союз отдавал формальную дань почтения немецким социал-демократам, пожертвовавшим жизнью за свои убеждения. Дань эта была в полном смысле формальной. Верхи не перечитывали и не собирались переиздавать книги революционеров-мыслителей, низы ксенофобски раздражало само чуждое звучание имен в названии их улицы.

Так вот, по вполне формальному заданию партийных теоретиков Марлен Кораллов в середине 60-х получил доступ к закрытым архивам Розы и Карла. По собственной инициативе связался с родственниками и наследниками (по большей части репрессированными Сталиным), смог ознакомиться с домашними документами. Он стал не только исследователем и знатоком в этой области, но и убежденным пропагандистом их идей. Только к кому обратиться со своими открытиями? В новой России градоначальники в большинстве городов (к одобрению граждан!) повелели переименовать чуждых Люксембург да Либкнехта в Торговую и Базарную улицы. А большая книга Кораллова о Карле Либкнехте за четверть века так и не нашла издателя.

Печально? Конечно! Но не так безнадежно, как кажется. В Большом мире имена и идеи лидеров социал-демократии не утратили ценности. Существуют центры, общества, занимающиеся изучением этих идей. Проходят представительные международные конференции. И скажу без преувеличения, статьи Кораллова о Либкнехте и Розе Люксембург, опубликованные в этом году в периодической печати, хорошо и плодотворно вентилируют мозги. Мы сейчас мучаемся над проблемами, пути решения которых предлагали немецкие социал-демократы почти сто лет назад. “Культура и общество”, “государство и общество”, “женский вопрос” — их идеи в этих областях, оказывается, совершенно не потеряли актуальности. Весной М.М. выступал на международной конференции в Мюнхене. И выступление было замечено, и резонанс был довольно широкий.

Так что несвоевременность тематики его интересов — кажущаяся. Поверхностный взгляд скользит мимо бывшего ГУЛАГа, мимо революционных идей, в свое время всколыхнувших планету, — “Ах, нам это надоело, ах, это се устарело!” Духовная слепота и упертость в сиюминутные проблемы — плохой поводьярь! А потому меня восхищают стойкость и сопротивление полемиста и социолога Кораллова.

Эту неуступчивость, эту верность своим идеям, эту способность к одинокому крепкому стоянию в боевой позиции Марлен выработал всей своей жизнью и сохранил до нынешнего, теперь уже весьма почтенного возраста.

Имею честь представить читателям журнала одну из статей Кораллова, написанных в текущем году.

Имею радостную возможность поздравить моего старшего товарища с юбилеем. Желаю тебе, Марлен, оставаться для нас примером мужества, цельности, силы!

Сергей Юрский

7 мая 2005 года, Москва

Третье тысячелетие упрямо склоняет вести счет на века, на эпохи... Недавно прочитал статью, приуроченную к столетию русско-японской войны. Серьезный историк

настаивает, что Россия вовсе не потерпела в ней поражение. Иначе графу Витте не удалось бы одержать свою блистательную дипломатическую победу в мирных переговорах. Историк умно разъясняет, что генерал Куропаткин был одним из достойнейших, одаренных генералов российской армии. Интендантская служба тоже не ударила лицом в грязь. О солдатах, о матросах и толковать нечего — даже врага покоряли они своей доблестью.

Любопытно, доживу ли до уверений, что Пятый год начиная с 9 января — великая победа Николая II? Впрочем, грешно предъявлять ему претензии — причислен к лику святых.

Хочу верить каждому слову — но предаюсь грусти. Если державный народ добрую сотню лет потчевали псевдоисторией, а глотал он любое пойло и терпеливо его переваривал, значит, ложь посильнее, чем истина. Чтобы правде пробиться сквозь толщу вранья, нам, современникам Рубежа, нужно набраться сил, предположим, еще на столетие — ведь ускорение существует, оно яростно. Но где же тот царски щедрый богач, который отвалит на прожитие аж полста?

Нет сомнений, свержажен, злободневен и впредь не обесценится призыв “жить не по лжи”. Никто не проповедует: “Врите, людишки! День и ночь валяйте Ваньку без устали!” Тогда вопрос. Отчего вечная жажда правды по сей день не выхлебала потоков вранья? Отчего мощные плотины не перекрыли русло? Недостает нам, что ли, камней и песка, чтобы засыпать грязь?

Конечно, каждый из нас правдолюбец. И, увы, каждый сознает, что ему не дано повернуть вспять поток лжи. Что придется ему и дальше плыть по течению — саженками, на спине, по-собачьи. Как кто умеет. А ежели нет желания и умения — никто не держит на плаву. Пожалуйста: на дне хватит места и для тебя, и для твоей дражайшей правдочки.

Признаюсь, осточертело.

Казалось бы, за истекшие годы должен я был привыкнуть к цензуре, к оборзевшим от страха редакторам и как раз теперь, во времена “либерально-демократические”, наслаждаться волей: редакторы милостивы, цензура уверяет, что исчезла...

Нет. Раньше, когда упирался, огрызался, рвался в ученики к Эзопу — выдержки как будто хватало. Допекло именно теперь, когда валяй, пиши, пока жив, не оглядываясь.

Похоже, что повинна та самая — “свобода, блин, свобода”. Она всегда повинна. Подозреваю, однако, что есть мотивчик не менее важный, доходчиво объясняющий, почему из горла полезло именно на Рубеже.

Прежде я тосковал о правде. Листая журналы толстые, тонкие, упрямо ждал ее от собратьев по перу. От тех, кто постарше, кто извилинами богаче. Нынче, когда время вытолкнуло на финишную прямую, с удивлением убеждаюсь, что сам я — старший. Впереди, на горизонте, мало кто остался. И слишком быстро исчезают они в дымке. Между тем нажитая за век двадцатый собственная правдочка давит сильнее и сильнее. Бунтует. Чувствуя, что вместе со мною, нерадивым ее хранителем, скоро уйдет в небытие, не желает смиряться. Заупрямилась, хотя, казалось, скромна, да к тому же ленива. Не рвалась в бой за себя.

Так и быть, выжму что-нибудь. Чувство долга до конца еще не исчезло. Давние привязанности живут. Больно, когда достойных оскорбляют забвением и клеветой.

Когда тупо судят о заслуживших признание. О списанных в расход, о тех, кто не в силах давать отпор.

Степана Злобина я любил. Его столетие отмечалось в Малом зале ЦДЛ. Я — как ведущий — старался. Однако друзья вымерли почти сплошь, почет старикам остался в песне. Молодым, как известно, дорога везде. Менее ясно — куда?

Вернусь-ка я к русско-японской войне и Пятому году. Тогда началось вхождение младенца в эпоху “войн и революций”.

Мать Степочки — Лида. Дочь глубокоуважаемого издателя сибирской газеты “Восточное обозрение” Николая Ядринцева. Студентка Высших женских курсов. За покушение на генерала Рейнбота — смертный приговор. Однако грозный суд разжалобился: молодо — зелено, да еще мать двоих младенцев. Заменял казнь пожизненной ссылкой. В родной для каждого, кто слышал про Сталина, Туруханский край.

Отец тоже студент. Медик. Не менее идейный, чем женушка. Примыкал к партии эсеров. Вряд ли входил в ядро, но “перекати-полем” не числился. В 1922-м удостоился чести: проходил по процессу над эсерами, взволновавшему и Новую Россию, и Старую Европу особой большевистской гуманностью.

Полиция, обыски, припрятанный браунинг, стишки да рисунки из Бутырок от матери и ее сокамерниц, назначивших сыночка редактором “Журнала”, — вот мелодии счастливого детства.

В Рязани либеральнейший доктор Голощапов устроил приют для детей, чьи родители затруднялись совмещать домашние обязанности со служением Революции. Земский доктор совмещал. Тепла для подкидышей у него хватало.

Надо ли объяснять, что после Февраля Степан не мог не стать членом команды левых эсеров, которую в Рязани возглавлял родной брат Ивана Каляева?

Впрочем, истолковывая столь решительный шаг, я, наверное, допустил упрощение. К одной лишь силе ветра, гнавшего историческую волну и щепку в ней — юношу Злобина, — дело не сводится.

В Рязанской губернии приютилась деревня Злобина. И как раз в канун Февраля, в 1916-м, дед Степана, столбовой дворянин, не дурак выпить, подал на высочайшее имя прошение о возврате княжеского достоинства: лет двести-триста назад лихого князя Злобина повесили за буйный нрав.

Боюсь углубляться в генетику. Другой предок Степана мирно служил в Благовещенской церкви на Тверской, дотянул до 105 лет и умер “от случая”. Вернулся с базара, захотел отдохнуть, да, сев мимо стула, ударился затылком о стену.

Догадкам предпочитаю голый факт. После Октября, когда анархоморяки с Балтики прибыли в Рязань наводить революционный порядок, закаленный уже боец Злобин никому не дал права усомниться в своей отваге. Эсеровской, анархической — чуть поздновато разбираться. И незачем. Все меньше тянуло Степана защищать губревком, охранять склады с оружием. В местной газете начали появляться стихи, подписанные таинственным псевдонимом “Аргус”. Бойца влекла к себе и театральная студия. А также мастерская известного в столицах художника Малявина... Многое влекло. Рязанская одежонка становилась в плечах узковата, пониже — тесновата, в самом низу — коротка. Дальний родич чеховских трех сестер рвется в Москву, в Москву в Москву...

Голодная столица военно-революционной России слезам, однако, верит не больше, чем в мирную пору. Хлеб свой Степан добывает в поте лица — как грузчик, артельщик. Никакой романтики. От сурового реализма кровь пошла горлом: туберкулез. Но насытить мятежный дух оказалось еще труднее, чем плоть. Самое трудное — найти самого себя. Поначалу Степан ищет как бы на ощупь. Промышленный техникум. Сельхозакадемия. Статистик в политическом Красном Кресте. Благодаря отцовским связям — личный секретарь Екатерины Павловны Пешковой, первой жены Максима Горького. Круг деятельности которой не имел границ. Наконец, Злобин обретает самое нужное из пристанищ — учебное. Он студент созданного Валерием Брюсовым литературно-художественного института, который позднее удостоен был имени Горького. Лекции читали в нем Брюсов и Луначарский, М. Гершензон, Г. Шенгели, М. Григорьев... Место под нежарким московским солнцем найдено. Не сытно-покойно-уютное для плоти, но для мятежного духа — в самый раз.

Через десяток лет страна услышит долгожданное слово: “дети за отцов не отвечают”. Подсчитать бы когда-нибудь, сколько загублено осиротевших детей заклеянных, приговоренных отцов, которых через двадцать и тридцать лет после смерти признают невиновными.

В Брюсовском институте Злобина называли Стенькой Разиным. Откуда бы ни вести сейчас родословную — от вольного казака, от буйного князя, от моряков с Балтики, противоречий не возникает: духовный корень, стержень натуры — отвага. Решимость стоять за правду...

Бутырки. Едва ли та камера, в которой сидела мать. И приговор другой. Не в Туруханский край ссылка, а в Башкирию. Великая милость.

Главное — различать эпохи.

Башкирия второй половины двадцатых нуждалась в грамотеях любого профиля — в учителях, технарях, газетчиках. Страх Уфы перед Москвой еще не стал тотальным, как в тридцатых. Похоже, что местные чекисты не отнеслись чересчур сурово к трехлетней ссылке вчерашнего студента, признавшего себя анархистом “по убеждениям”, но ни в каких партиях формально не состоявшего. Парень открытый, работающий, принявший к сердцу Башкирию, чего еще надо? “Серые волки” тогда еще страха не наводили. Благовещенск жил тихо.

Есть у меня подозрение, что ссылка обернулась для Злобина благом. Уберегла от московской политлитературной склоки, от рапповских и прочих завихрений, в водовороте которых и умелый пловец захлебнулся бы, израсходовав силы и талант. В Башкирии ссыльный приник к земле. Наткнулся на родник. Пробил собственную тропу.

Повесть “Салават Юлаев” стала воистину судьбоносной. Из лесов, из зоны башкирских легенд и преданий она вывела ссыльного на магистраль исторической прозы. В начале тридцатых ее герои — декабристы, народовольцы, крестьянские бунтари, снабдившие 17-й год родословной, стали шаг за шагом, неохотно, но уступать почетное место властителям Державы, полководцам, служившим трону. Тыняновский Кюхля и чапыгинский Разин вроде бы решили смириться перед толстовским Петром, создателем Империи. Вскоре дело пошло в предуказанном судьбой направлении: получил реабилитацию Иван Грозный, вернул былую славу укротитель пугачевщины, покоритель Варшавы, екатерининский фельдмаршал, павловский генералиссимус Суворов...

Злобинский “Салават” вовсе не изменял крамольной уже идее Бунта. Но повесть одновременно наполнялась высоким государственным смыслом: русский автор восславил башкирского соратника Пугачева! Работа на истинно братский союз, на единение народов

была и впредь останется в многонациональной стране работой патриотической. Своими стрелами вольнолюбивый Салават сбивал на землю перезревшие царские яблоки, но сшибил деревья молодого советского сада. Не рубил на скаку веток. Пускай сад цветет!

Включенная в школьные программы, повесть перечеркнула криминальный остаток студенческой поры. Степан вновь москвич, молодой прозаик, но с именем. Рапповские, конструктивистско-лефовские схватки мастеров кисти и пера, как видно, уже теряют для него ту крестьянскую ярость, с какой бойцы сражались вчера у своих межей. “Великий перелом”. Власть решает согнать мастеров в колхоз, чтобы пахали без лишних разговоров. Под флагом Максима Горького рождается Союз писателей. Советских! Детскую секцию возглавляет в нем Маршак. Соблюдая законы демократии, ответсекретарем ее дружно избирают Злобина. Но в 1934-м возникает немало и других событий. Напомню об убийстве Кирова, о последовавших затем повальных ссылках, арестах, ежовщине...

Чтобы осмыслить настоящее, Злобину необходимо углубиться в пласты отечественной истории. Мятежная юность не забыта. Он задумывает масштабное полотно о восстании 1650 года во Пскове. О причинах краха новгородской вольницы... Замыслы по сути бескрайние. Для их воплощения нужны годы денного и ночного труда. Покой и уют...

1941-й... Фронт. Эпический по складу таланта прозаик превращается в журналиста, который работает во всех жанрах. Выдает на-гора стихи, фельетоны, на ходу берет интервью.

Редакционный автобус вмятку: обстрел. Залитого кровью журналиста оттащили. Плен.

Взвешивая подробности осенней поры 41-го, охотно бы предложил догадку, что без Высшей силы не обошлось. Иначе нельзя объяснить цепь случайностей. К примеру, известно: когда в колонне безоружных, бессильных пленные падают, конвоир их пристреливает. Место трупа — на обочине, чтоб не мешал тащиться пока живым. Но этот конвоир не пристрелил. Зверея от натуги, поднял павшего, тащил до какой-то будки. Позднее выяснилось, что конвоир нес службу политруком в той части, куда, рискуя шкурой, добирался журналист из боевого листка — Степан Злобин. Бывший политрук узнал его. Теперешний предатель — спас.

В записной книжке пленного меня когда-то задели строки: доходяга умял пайку — и умер. Сосед по нарам — дружок ближе некуда — горестно вздохнул:

— Эх, пайку жалко...

В бараках для пленных разбушевался тиф. Сыпной. Немцы бараки тифозников обходили стороной. Лекарствами не баловали. Но кто-нибудь, способный разбирать латинские буквы, требовался. Списывать мертвяков, вытаскивать их из барака следовало по инструкции. Как же без нее?

Злобин становится медбратом. Действуя “по обстановке”, делит контингент на два разряда: на подонков, отнимающих у полумертвого пайку, и на людей, чей нравственный стержень, может, и надломился, но не сломался. К медбрату потянулись вторые, кто пока еще с совестью. Один, другой. Возникает подполье. Без партбилетов и заседаний, тем более — без протоколов. Критерий идейности и надежности — совесть. Она требовала кормить раненых — зачастую с ложки. Убирать за ними дерьмо. Злобин ничем не гнушался. Утешал ослабевших. Силу давала Идея: “Мы не предатели Родины, а ее солдаты. Мы не сдались и не сдадимся”. Верные присяге и знамени оказались покрепче, чем признавшие владычество лишь одного закона — “умри ты сегодня, а я завтра”.

Законы подпольного “ядра” бывали жестче, чем правила борцов лишь за собственную, даже за дубленую шкуру. У основ социальной физики есть своя шкала твердости. Залог

надежности подполья — жесткость, нередко переходящая в жестокость. Ему нужен авторитет. Не обязательно громогласный. Но такой, чтобы тихая просьба, совет и намек исполнялись безоговорочно.

Нет парадокса в том, что сначала под Минском, а позднее и в других лагерях для пленных при участии бывшего беспартийного анархиста, потомка рязанского князя возникала вольница. Разумеется, каждый раз на ограниченный срок. Немцы слепыми не были. Хватало у них и нашенских, вполне зрячих, которые истово служили новым хозяевам. За страх и за совесть.

Когда над Минском сгустились тучи, лагерный медбрат понял, что единственное средство спасения — побег. Дело непростое: три ряда колючки, посты, пулеметы, дозоры, каратели, выдающие себя за партизан. Ледяные воды Березины, Десны, Днепра. Эх, скорей бы потеплело, чтобы не сгинуть, пускаясь вплавь, плутая в лесах.

Если идти по ночам километра по три — даже по пять — в час, то надежда добраться до фронта невелика. Но смерть на виселице вряд ли предпочтительней.

Донос опередил побег. Имя доносчика известно, так же как название, номер, режим очередного лагеря. Вновь опушу обрекавшие на смерть и чудом спасавшие детали, но эпохально-глобальную подчеркну. Разное это время: до битвы под Москвой, до Сталинграда — и после Курска, после разворота на Запад, когда вдали уже проглядывалась граница с Германией.

В судьбу Злобина еще не раз вторгался Случай, не поддающийся дешифровке с помощью радио. В его судьбе отозвалось эхо, далекое от взрыва бомбы, которую 20 июля 1944 года пронес в кабинет Гитлера полковник Штауффенберг. После войны отыскились и чудом добрались до Москвы тетрадочки, которые рассудку вопреки марал и запрятывал в тайниках отчаянно-безудержный графоман, считавшийся в прежнем бытии писателем. Детективная история тетрадочек рассказана в 78-м томе “Литературного наследия”, во второй книге “Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны” (М.: Наука, 1966).

Четырехлетний плен завершился в Лодзи тоже всплеском фантастики, хотя Злобин как писатель — и до плена, и после него — не нарушал границы строгого реализма. Когда немецкая охрана лодзинского лагеря предпочла побег расправе наступающих русских, именно эку авторитетному освободителю доверили управление освобожденными. Каждому хотелось рвануть на долгожданную волю. Но там их встретили бы другие беженцы — с оружием в руках. Уже не солдаты, а голодный сброд любой масти, возненавидевший уставы и приказы. Всех вокруг.

Немцев сгоняли именно в “русский” лагерь, где наводил порядок некогда ссыльный анархист Злобин.

По приказу Верховного сдавшимся немцам полагался паек, который в сравнение не шел с харчами, отпускаясь своим. Большая политика! Еще в начале Отечественной Сталин объявил и Красному Кресту, и всему белому свету: нет пленных, есть изменники и предатели... Но Злобин отважился нарушить приказ Верховного. Срезал вражий паек и подбросил малость родным бедолагам.

Донос. Вызов аж к самому генералу.

— Кто ты таков, чтобы плевать на приказ?

— Писатель.

— Писатель?!!

Обычные чудеса. Как раз в те дни и в ту часть его величество Случай привел Бориса Горбатова. Московского гостя попросили взглянуть на этого самозванца. В самом деле: тощий хрен, по странности уцелевший, — тоже писатель. Хрен Хренович. Генерал смягчил тон. Удивленно любопытствовал:

— Скажи, после всего пережитого как духу набрался нарушить приказ Верховного?

— Научный эксперимент, товарищ генерал. Немцы — высшая раса. Мы — ниже некуда. Они презирали нашего брата, когда мы жрали помой. Я и решил взглянуть: как поползет высшая раса к помойке, неужто удержится? Поползла, сердечная. На обгон.

Ох, не прав был Злобин. Но генерал оказался с юмором. Простил.

Пока суд да дело, проверки да уточнения, направили шутника в редакцию армейской — может, дивизионной? — газеты. В звании рядового. Запрета на рядовые стишки из Ставки Верховного как будто не поступало. Без заметок и стишков боевой печати не прожить. А дальше — видно будет...

Злобин отважно куковал до самого Берлина. Но знал, что вздохнет полной грудью, что ощутит Свободу и Победу лишь возвратившись домой. К сыну, к жене, пострадавшей без вестей от павшего — героически или бесславно... Ощутит Свободу лишь возвратившись к письменному столу, к замыслам, державшим за горло до войны. И прежде всего — к опыту, нажитому в плену. К осмыслению вселенского лихолетья.

* * *

Давно замечено, что самые трудные времена — послевоенные. Цель как будто достигнута, предельное напряжение сил требует скорой и полной разрядки, но... Надеждам, дававшим силу, место в реальности остается, как правило, до боли и горечи малое.

Инстанции, начиная с писательских и кончая почти небесными, проявляли к Злобину аппаратную тупость. Для солдата израненного, в плену устоявшего, глубоко оскорбительную. Ставшее правилом бюрократическое бездушие слишком часто воспринималось как недоверие. В коммуналке не хватало всего: покоя для тяжело заболевшей жены, места для подросшего сына, для книг и рукописей. Не хватало и хлебушка: в 46-м, в 47-м голодуха продолжалась свирепая. Если выпадала писательская удача, над гонораром впору было и плакать, и смеяться. Но Злобин писал не разгибая спины. Вопреки рассудку, писал о тех “изменниках” и “предателях”, которые, не сдавшись во вражьи концлагерях, без жалкой “милости к падшим” загонялись СМЕРШем в нашенские. Похоже, сбрендил он, Злобин, в который раз пойдя наперекор курсу Верховного. “Сбрендил” — неверное слово. Просто слишком много “пепла Клааса” накопилось в сердце.

Рукопись под названием “Восставшие мертвецы” Злобин отнес в “Новый мир”. Понятно: во главе журнала, по традиции близкого интеллигентам, стоял прославленный поэт, драматург, исколесивший фронты поперек и вдоль, вхожий к Сталину. Через доверенного сотрудника Константин Симонов пояснил Злобину, что тот в войне разобрался плохо. Мало что понял. Рукопись была конфискована военной прокуратурой. Вскоре “Детгиз” расторг договор на издание “Степана Разина”. Юридическая часть настоятельно просила сообщить, когда автор погасит задолженность в 10 500 рублей.

Рассуждая корректно, я готов признать, что Симонов оценивал Отечественную более широко, чем Злобин. Во всяком случае, с иной позиции — сверху! Гораздо позднее он, выверив ракурс, перенесет ударение с маршальско-генеральской точки зрения на солдатскую. Злобин и тогда, на исходе сороковых, устремлял взгляд “снизу”. Не отводил глаза от изнанки парадной шинели. От пробитых в ней пулями дыр. В сущности писал не о предателях Родины, а о преданных ею. Об уцелевших несмотря ни на что. И доживавших остаток дней в родных застенках и зонах, под прицелами кровных своих братков. Рановато заговорил он насчет “реабилитации”. Дерзко. Сталин еще жив. XX съезд еще далеко.

Известно, что делать, если перед глазами стена. Пробивать ее лбом, чтобы попасть в другую камеру. Будь Злобин лет на тридцать моложе, снова нанялся бы грузчиком. Но теперь и торговля мороженым не по силам и не по вкусу. Стиснув зубы, автор заканчивает роман о псковском восстании. Эпический “Остров Буян”. Кирпич — авось, подкормит. Система уважает количество, платит за листаж.

Злобин прикован к давним замыслам крепче, чем каторжник к тачке. Его груз — неотступные думы о судьбах России. Замыслов — до конца века. Но сейчас, вытащив из забоя вагонетку с “бутовым камнем” о псковском восстании, надо вернуться в забой и выламывать камень для двух вагонеток — о восстании Стеньки Разина.

В 1952 году за двухтомный роман “Степан Разин” автор получил Сталинскую премию первой степени.

Шестикратный лауреат Сталинской премии, депутат Верховных Советов СССР и РСФСР, Герой Социалистического Труда, секретарь Союза писателей СССР и т.д. и т.п., превосходно знающий, что, когда и почему, Константин Симонов, отдав дань покойному вождю, допустил стратегический просчет — на мой взгляд, простительный. Не перестроился со скоростью, какой жаждали Берия, Маленков и прочие рабы, избавившись от каждодневной смертной дрожи перед Хозяином. Отважный солдат, чуткий ученик, лукавый царедворец, наверное, ощущал, что в жилах его течет и кровь дворянская, княжеская. За инерцию пиетета к властителю — по множеству доказательств убиенному — опальный теперь поэт избрал добровольно-почетную ссылку в Ташкент. Само собой, временную.

Честно признавший позднее свои прегрешения, Константин Симонов лишь под занавес, под конец жизни решился продиктовать раздумья о Сталине.

Продиктовал — и упрятал в архив.

Только через десяток лет после рождения мемуарных страниц, разумеется, в период уже перестроечный (с марта 1988 года), журнал “Знамя” начал печатать очерк “Глазами человека моего поколения”.

В очерке есть замечательные страницы о присуждении Сталинской премии Степану Злобину. Миновать их здесь невозможно.

Кремль. Непогрешимому, Непререкаемому представлен на утверждение список кандидатов, выдвинутых на его личную премию. Хозяин проглядывает документ. И задает вопрос, для искушенной аудитории пока непостижимый:

— Почему в списке нет “Степана Разина”?

Начинает хвалить роман. И как хвалить! Волковывает, что автор проявил зоркость политика, впервые в литературе вскрыв разницу между крестьянской и казачьей основами

движения... Что Разин и Пугачев терпели союз с крестьянами, мирились с ним, однако силы и мощи крестьянства не понимали...

Не собираюсь пересказывать сцену, написанную мастером. Позволю себе лишь краткое к ней примечание.

Нет сомнений: чем выше Сталин оценивал роман, чем настойчивей раскрывал его достоинства, тем тяжелее становилась вина маститых деятелей Союза писателей, составлявших перечень кандидатов на премию. И, безусловно, получивших предварительное “добро” у ответственных ЦК партии. Хозяин хвалил, а верных слуг бросало то в жар, то в холод. Как быть?

Наконец раздался робкий голос. Видимо, Маленкова, осторожно замечает Симонов. Именно Маленков вел заседание Политбюро.

— Товарищ Сталин, тут вот проверяли... Во время пребывания в плену Злобин плохо себя вел. В немецком концлагере. Есть к нему серьезные претензии.

Отдадим Маленкову должное. Отыскал единственно возможное оправдание — административное. По поводу художественных достоинств романа (и тем более, политических) никому бы в голову не пришло вступать в полемику с Вождем. А по священным канонам анкетная гирия на чаше весов перетягивала и этику, и эстетику. Выход из сложной коллизии вправо был искать только Сталин. Великий знал истинную цену досье и бумажкам лучше каждого из присутствующих.

Сталин осчастливил Юрия Трифонова премией за роман “Студенты”. Неужто не ведал, что отец его, входивший в высшее руководство Чека, получил расстрел в 38-м, а мать хлебала баланду в лагерях; что, поступая в Литинститут, сын позволил себе в анкете, скажем мягко, неточности, поздней раскрытые, но с помощью “людей добрых” погашенные...

Сталин сам устанавливал цену досье и бумажкам. Не торгуясь. Какую хотел.

Итак, величайший из последователей Станиславского медленно похаживал и ронял перед замершей публикой плоды мучительно вызревавшей мысли: простить или не простить?

Внимая спектаклю, каждый пронизательный зритель (других и быть не могло), наверное, догадывался, что речь идет уже не о Злобине, что рикошетом она задевает и его, трижды грешного, ничего не стоящего. Судьба его тоже в руках Высшего Судии.

Несказанно Добрый, Гуманный наконец решил: простить!

Есть догадка. Самодержцу всея Руси пришелся по нраву ворюга “в законе”, разбойный властитель Тихого Дона. Облик атамана слепил не холуй, а бывалый эсер-анархист-пленяга, влюбленный в удалцов-молодцов, поэтичных, как в былинах, героических, как в легендах. Облик мятежника слепил “государственник”, пострадавший за родную державу. Править такой Русью и лестно, и любо.

Посреди ночи поднятый телефонным звонком, мало что понимая спросонья, Степан Злобин принимал на грудь Ниагару восторгов Александра Фадеева. Великолепный роман! Ты, Степан, историк и художник, какого днем с огнем... Ты впервые вскрыл разницу между крестьянством и казачьей основой... Разин и Пугачев не понимали...

О том, что Сталин собственноручно вписал Злобина в список лауреатов, глубоко доверительно поведал романисту директор Гослита Котов...

Как из скатерти-самобранки, свалилась в руки лауреата квартира в высотном доме на Котельнической набережной. В подъезде, где жили рядом Твардовский, Паустовский...

В коммуналках всю жизнь мечтал Злобин раздвинуть треклятые неквадратные метры — и вдруг! Издательства наперебой предлагали договоры: “Подпиши, благодетель!” Друзья подшучивали: “Злобин коллекционирует машины советских марок...” Действительно: обзавелся “Победой”, сменил на “ЗИС”. Сталинист!

Никто из командных верхов Союза писателей не посмел возразить, когда низы избрали Злобина главою основной секции — прозаиков.

5 марта — рубеж эпох.

Перебирая когда-то наброски и дневники Злобина, не мог я не задержать взгляда на записи, посвященной XX съезду. Ни ярко-красных, ни бледно-розовых иллюзий писатель не разделял. В быструю ликвидацию “касты жрецов” и тех, кто ими куплен, кто зажат в тисках, не верил. Знал, что жрецы и подчиненная им команда будут сопротивляться яростно. Что виновными в ошибках объявят “всех в равной мере”. И непременно предложат не ворошить прошлое, а добиваться “единения сил”. Иными словами, нерушимость собственной власти. Ради нее запросто отрекутся от прежних “заблуждений”, но не от прежней системы. Зачем же? Она превращала государство в их личную вотчину, в “ленное владение” бюрократии — с возрождением “культы личности” или без него. В конечном счете им важен не “культ личности”, а культ, каким бы он ни был.

Легко возразить: велика ли доблесть после хрущевского съезда доверить дневнику полуночные размышления? Но сохранились еще свидетели, которые помнят выступление Злобина на собрании московских писателей; состоялось оно полвека назад — 6 декабря 1954 года. До хрущевского доклада на XX съезде.

Через день “Правда” объявила выступление Злобина “идейно порочным”. Еще через день из планов издательств начали выпадать названия злобинских книг — всех без исключений и на годы вперед.

Лишенный гонораров, продал сначала машину, потом ковер. Усадил себя за работу редактора, переводчика — спасибо друзьям, тайно подкидывали, жалели негра.

За что столь крутая расправа? Но Злобин не мальчик, на другую не рассчитывал, когда бросил в зал: “А вы, толпою жадною стоящие у трона...” Знал, с кем вступил в полемику. В открытую, без кукиша в кармане: со всемогущим Алексеем Сурковым, с Александром Фадеевым, с Николаем Горбачевым, с Николаем Виртой, с еще не разоблаченным Суровым...

Спрашивается, чего ради Злобин пошел напролом в лобовую атаку? Как старый солдат, он отдавал же себе отчет, что на господствующей высоте перед ним опытный противник, не сдающий позиции без боя... Вопрос риторический, не требующий ответа.

* * *

Кто тянулся к Злобину? Бунтарей, да еще опальных, умельцы жить не шибко жалуют. Впрочем, жалуют, когда те помрут и вдруг обнаружится, что вчера опальные — нынче в большой чести. Тогда умельцы не упускают случая поспешить на авансцену, покрасоваться на ней в роли самых близких, самых первых друзей.

В длинном и неизбежно пестром ряду знакомых, можно сказать, в толпе, потому что Москва городок серьезный, связей в ней без счета, ядро составляли люди бывалые, кое-что испытавшие на собственной шкуре. Несмотря на стужу истекших лет, в доме ощущалось тепло товарищества. И как раз сейчас, когда пишу эти строки, я обращаю внимание на то, что вопрос национальный оставался снаружи, за стенами, а внутри дома не возникал.

Деталь: одно время Степан Павлович был дружески расположен к великолепному знатоку Древней Руси академику Тихомирову, тоже получившему квартиру в высотке на Котельнической набережной. Почитал в нем серьезного ученого. Не назову точной даты, когда между двумя просвещенными исследователями былого возник спор о проблемах национальных, но превосходно помню, как резко прервал писатель добрососедские отношения с историком из-за его модных построений насчет иудейства: раскаты эха борьбы против космополитов, против врачей-убийц слышались и после смерти Сталина. Повторяются и по сей день. Так что нет нужды обращаться к памяти. Перед глазами щедрая на сведения пресса. Она сытно кормит итогами рейтингов, опросов, откровеннейших интервью. К примеру, респектабельные “Известия” сообщили, что по уровню жизни первое место в мире занял Цюрих, за ним последовали Женева, Ванкувер, Вена, а “золотая моя столица” несколько поотстала: заняла в почетном ряду место 190-е. Столь же любопытно убедиться, что по уровню “национальной опасности” мы, москвичи, ставим на первое место кавказцев, а евреи явно сдали позиции, откатившись на шестое место. Что в марте 2004-го за ограничение их влияния в органах власти ратовали 35%, в бизнесе — 22%, в юридической сфере — 11%. Что ограничить проживание в Москве кавказцев жаждут 60%, выходцев из Средней Азии — 47%, а евреев — так же, как африканцев, — всего лишь 28%... Не похоже, что большой прогресс.

Но дело прошлое, март високосного давно позади. Вот сведения посвежее из “Московского комсомольца”, из предпасхального. Очень жаль, не устаревшего. В статье “Родина в кавычках” Марк Дейч 9 апреля предлагал выдержки из предисловия к программному сборнику “Расовый смысл русской идеи”. От обширных цитат воздержусь опять с немалым сожалением: текст засверкал бы радужно. Позволю себе два-три штриха.

В сборнике идет речь о введении трех категорий гражданства. Высшая — это имперская. Она дает максимальную полноту политических прав. “Союзнической” достойны коренные жители Русской Империи, не являющиеся закоренелыми русофобами и агентами влияния наших врагов, однако же нарушавшими верность русскому имперскому делу... Господа “союзнички” не имеют права участвовать в выборах, занимать высшие государственные должности, быть офицерами госбезопасности, дослужиться до серьезных чинов в полиции, армии.

Намечается и третья категория россиян. К ней относятся лица, постоянно проживающие в Русской Империи, однако, с точки зрения лояльности к ней, заведомо сомнительные, коль скоро состояли или же состоят в браке с иностранцами, принадлежат к этносам, имеющим государственность за пределами РФ, принимали участие в антирусских, антиимперских движениях, сотрудничали с антирусскими, антиимперскими организациями. Иными словами, либеральные интеллигенты, этно-территориальные сепаратисты и т.д. На них распространяются ограничения, существующие для иностранных подданных.

Таковы программные установки. Их можно и должно оценивать исторически широко, опираясь на опыт XX века. Однако здесь ни к чему дальние экскурсы в Третий рейх. Здесь разобраться бы поконкретней в облике Степана Злобина. Погружаюсь в архив.

Передо мною письмо Юрия Домбровского. Когда-то оно было отдано вдове Степана Павловича для сборника воспоминаний, который до сих пор не вышел и в обозримое время, насколько могу судить, до печати не доберется.

Справка: лет двадцать назад, когда возник разговор о новом издании романа “Остров Буян”, я несколько строк из письма процитировал. Наконец, десяток лет назад, уже в перестроечную пору, когда издательство “Правда” стало “Прессой”, “Остров” всплыл в море полузапретной прозы. Есть резон обратиться заново к страничкам письма.

20 июля Злобин писал Домбровскому: “Дорогой Юрий! Книгу мне твою не прислали. Забыли, что обещали. Но я съездил и взял ее сам. Читаю. Считаю по-прежнему, что это блестящее письмо и стилистически, и по содержанию. Темпераментно, умно, тонко и интересно. Это объективно. Непременно раздобуду (слева) рецензию этого редакционного перестраховщика и, делая вид, что не читал, трахну по ней (мне всегда удастся лучше, если я на кого рассердился)...”

Ответ Домбровского, посланный 2 августа и повествующий о редакционных злоключениях “Хранителя древностей”, заканчивается меланхолическим вздохом: “Ну что ты скажешь и поделаешь”. А вслед за ним просьбой к судьбе: “Очень хотелось бы, чтобы роман попал к тебе!”

Расщедрюсь еще на несколько строк из ответа на просьбу вдовы — Виктории Васильевны — принять участие в сборнике воспоминаний.

Домбровский рассказывает о том, как в редакционных инстанциях застревал, как перемещался из квартала в квартал, из плана в план, как наконец вырвался на свет Божий роман “Обезьяна приходит за своим черепом”. Пока “Обезьяна” рождалась, Домбровский превратился в “сплошное ожидание”. Но вот родилась — и ни рецензий, ни отзывов, ни даже упоминаний в прессе. “Ну хоть бы выругали, что ли?” Тогда и пришло по почте странное и страстное письмо. Разбирая книгу, читатель высказывал уверенность, что она не устареет — не может устареть — до той поры, пока фашизм, оставивший после себя на земле “огромные не продезинфицированные помойки”, обретает разные формы, минуя разные фазы, не теряет “стабильности”. Читатель упоминал и о собственном опыте сопротивления...

Лишь сделав последний глоток, лишь жадно осушив “великолепное письмо”, Домбровский разобрал фамилию, которая на конверте показалась неясной: “Степан Злобин” И даже засмеялся от радости — как раз такого отзыва он и ждал!

Недавно выбравшийся на волю, четырежды попадавший “за колючку”, Домбровский еще от тайшетских зэков, во время войны сидевших в Германии, слышал о Злобине как об одном из недрогнувших, неподдавшихся, которые воистину смертью смерть попрали. “Мог ли я ожидать отзыва более авторитетного? — восклицает Домбровский. — И не для этого ли читателя, вернее, не от лица ли этого читателя и написан был мой роман?!”

А теперь историко-лирическое отступление. Безлимитное первое?

* * *

Один из тайшетских зэков (до Тайшета — колымский, таймырский, казахстанский, грузинский), будущий автор знаменитого романа “Дата Туташхиа” — Чабуа Амирэджиби — после третьего побега приземлился в Майкудуке. Расположенный в предместье Караганды, угольной столицы и железнодорожного узла Казахстана, Майкудук был центром режимного Песчанлага. Он имел сравнительно постоянный собственный

контингент и одновременно служил пересылкой. Этапы приходили в него с запада и востока, шли через него с юга на север...

Не знаю, почему меня продержали в Майкудуке около трех лет. Но знаю, почему в карцерах и бурах. Подфартило. Во всяком случае, я принял бледно-зеленого после следствия Чабуа как зэк обветренный, заматеревший. Отношения сложились с первого взгляда — и на полвека. После каждого побега срок Чабуа возрастал. Постепенно накопилось 83 года. Поэтому хрущевские милости возвратили Амирэджиби волю гораздо позднее, чем Домбровскому и мне.

Пожалуй, “возвратили” — неточное слово. С большим трудом Чабуа вытаскивали на волю родители и друзья.

Когда воскрешенный приехал в Москву из Мордовии — из Дубравлага, — красавица Родам, жена Михаила Светлова, старшая сестра Чабуа, устроила банкет для лагерных кирюх брата. Устроила дома, в тесной двухкомнатной квартирке на углу Тверской (по-нынешнему) и Камергерского, напротив МХАТа. Несмотря на тесноту, банкет по канону был княжеско-грузинским, а по сути — сказочно-фантастическим. Миссию тамады взял на себя Махмуд Эсамбаев.

В каких зонах, бараках и карцерах, в каком из голубых снов могли мы раньше увидеть эту встречу? Да если бы отчаянный фраер в Майкудуке, если бы любой приклатненный посмел вякнуть, что, пережив Сталина на полвека, Чабуа и я доберемся до третьего тысячелетия, — за издевку били бы пророка всем, что под руку попадет: кирпичом, ломом, киркою.

Именно здесь, у Светлова, познакомился я с Домбровским. Разумеется, я и помыслить не мог, что промелькнут годы — и его племянница станет моей женой. Но и это свершилось...

Что я знал тогда о Домбровском? Дешевые хохмы из ресторанного быта ЦДЛ... Прошедшие через десятки рук байки из его лагерного бытия... Но с той поры даже пустяковые детали из застольного трепа общих знакомых обретали для меня особое значение. Я вчитывался в отклики на стихи и прозу Домбровского порою внимательней, чем он сам. Само собой: коль скоро отклики попадались на глаза...

II

Когда “Факультет ненужных вещей” вышел во Франции, сотрудница издательства “Галлимар” с удивлением поведала, что пресса выстрелила залпом. Полтораста восторженных рецензий! Теперь европейский и заокеанский счет, наверное, перевалил за тысячу, за другую. С горечью сообщаю, что наше критическое эхо не идет в сравнение с зарубежным. Во всяком случае, по количеству, по “массе”. Надеюсь, правда, что несколько дорогих мне статей не уступают по качеству закордонным. Домбровского высоко ценили писатели, способные разгрызть крепкие орешки: Александр Аникст, Алексей Зверев, Шимон Маркиш, Андрей Турков...

Заметки мои носят мемуарный характер, разбор стихов и прозы Домбровского в них неуместен. Но как раз потому, что пишут об узнике Колымы сейчас до постыдного скупости, нельзя не расщедриться здесь на пересказ недавнего очерка о нем, принадлежащего перу Евгения Ермолина, “Вкус свободы”. Напечатан очерк в “Континенте” (2003, NN№ 2).

Исследователь считает “Факультет...” шедевром исторической прозы. Вслед за Фазилем Искандером видит в нем лучшее творение о советских тридцатых, о “черной бездне века”.

Лучшее не только в сфере художественной, но одновременно при сравнении с монографиями историков, социологов — Авторханова, Геллера, Конквиста, Некрича...

Умудренный опытом знаток культуры говорит в “Факультете...” о судьбе христианско-гуманистической цивилизации в момент рокового испытания ее ценностей в тоталитарном пекле, о кризисном ее изломе и, главное, — о неискоренимой жажде свободы. Это роман о любви. О добре и зле. О жизни и смерти. О Боге и дьяволе. Героем романа не случайно стал Хранитель древностей, верный устоям христианско-гуманистическим. Поэтому “Факультет...” — великий русский роман...

* * *

Разглядываю старинные фотографии, пытаюсь вникнуть в пожелтевшие письма, ворошу в памяти семейные разговоры.

12 мая 2004-го Юрию Домбровскому исполнилось бы 95. Уступил пятерик Степану Злобину. Что же извлекать из семейных залежей в этих запоздало юбилейных заметках?

В середине XIX столетия на станцию Зима, множество раз упомянутую в стихах и прозе Евгения Евтушенко, прибыл некто Лейбович. Вступил в брак с юной субботницей, рожавшей ему редких красоток. О красоте сыновей не слыхал. Когда верная жена умерла, Лейбович, свято соблюдая закон, взял в жены ее младшую сестру, тоже рожавшую прелестных дочек.

Трудно выяснить, сколько из них умерло в младенчестве, но общий счет рожденных обеими женами приближался к двум десяткам.

По сибирским масштабам, Зима расположена рядом с Иркутском. Отделяют их километров двести пятьдесят всего лишь. Подросшие красотки из Зимы шли в Иркутске нарасхват. Генерал-губернатор граф Игнатъев в своем дворце на берегу Ангары охотно танцевал с украшением бомонда. Бабку моей жены, возвращавшуюся в 1905 году из Ниццы и застрявшую в Москве из-за восстания, перехватил инженер из Прибалтики Мандельштам — родич петербургского поэта. На сестрице ее женился зачем-то прибывший в Иркутск Домбровский. Не буду цепляться за каждую веточку родословного древа. Под руками нет у меня документа о рождении создателя явления русской прозы — “Факультета ненужных вещей”. Но сохранилось приходское свидетельство NN 1804, выданное 19 октября 1918 года. В левом верхнем углу бланка типографский гриф: “Евангел.-лютер. Свв. Петра и Павла приход в Москве”.

Из свидетельства явствует, что сестра будущего зэка Наталья-Евдокия Домбровская родилась в 1918 году 24 июля в 2 часа дня. Что крещена она 29 сентября того же года пастором А. Зигфридь...

Родители: Иосиф Витальевич Домбровский, присяжный поверенный, иудейского исповедания, и жена его Лидия, ур. Крайнева, еванг.-лютеранск. исповедания.

Восприемники: 1. Борис Витальевич Домбровский;

2. Лев Максимович Робинсон;

3. Надежда Исаевна Хотимская, ур. Гиллерь;

4. Августа Ивановна Мельникова, ур. Гончарская.

Подпись: пастор NN (нрзб)

Печать: Евангел.-лютерь. Свв Петра и Павла Церкви.

На обороте еще три печати: из домового комитета и районных офисов: “Наталья-Евдокия проживает...”

Поделюсь выжимкой из устного комментария давно покойной тещи Елены Яковлевны Мандельштам, родившейся на год позже своего кузена и коротавшей вместе с ним детство. Как закон — летние месяцы. Дачу обе семьи снимали в Малаховке.

Чтобы не было скептических улыбок, подчеркну: по всем статьям теща заслуживала доверия. Как повелось в роду, редкостная красotka, теща покоряла и умом, и характером. На исходе двадцатых, да и позднее, когда родичей мужа — архитектора Островского — сажали подряд, сплошняком, гуртом, “лишенку” Елену Мандельштам изгнали из МВТУ. Долго мыкалась вчерашняя гордость курса без дела и денег, но — слава Всевышнему — свет не без добрых людей. Рискнули зачислить в новорожденный институт. На должность нижайшую. Не спеша подымаясь по ступенькам, Прекрасная Елена оттрубила в “Гипрокаучуке” 55 лет. Дипломов, патентов, благодарностей — без счета. Медалей и орденов — по счету. Удостоилась и Сталинской премии. Главе своего “Гипро” отнюдь не помешала получить Ленинскую. Словом, серьезная теща.

Сурово осуждала кузена Юру. В детстве щипался. Поздней, когда выходил на волю, случалось, пил по-черному. Нарушал джентльменское слово. Безбожно опаздывал на семейные торжества. Прозу брата воспринимала сквозь призму малаховского прошлого...

Однажды вечером теща рассеяла недоумение насчет свидетельства о рождении Натальи, бесследно пропавшей в 1941-м.

При хозяине земли русской Николае II иудею возбранялось жениться на православной. Но влюбленный Иосиф, вероятно, вспомнив про Генриха IV, решил, что его Париж стоит любой мессы, и вместе с невестой Лидочкой принял протестанство. Если угодно — лютеранство. В отличие от православия преград браку оно не ставило.

Но тогда возникает вопрос: отчего в свидетельстве о рождении Натальи-Евдокии почтенный пастор обозвал отца иудеем?

Догадка тещи: свидетельство датировано июлем 18-го года. Февраль 17-го позади. Октябрь тоже. На старые запреты просвещенным гражданам наплевать. Вместе с Александром Блоком Иосиф Домбровский входит в Комиссию по разбору преступлений царского режима. Подозреваю, что гораздо позднее и Юрию Домбровскому на отметки-паметки в свидетельствах и тем более в протоколах допросов стало глубоко наплевать.

Пора опереться не на химика Елену Мандельштам, а на филолога Татьяну Сотникову, автора статьи о Домбровском в биографическом словаре “Русские писатели XX века” (М.: Большая российская энциклопедия, 2000). Поверю филологу и заодно проверю факты.

В статье сказано, что Юрий Домбровский окончил Высшие литературные курсы “при СП СССР” в 1932-м. Не думаю. СП возник в 1934-м. Курсы назывались “Высшими государственными...” ВГЛК. В том же году подвергся аресту. Получил ссылку в Алма-Ату. В 1937-м угодил в тюрьму второй раз, но после долгого следствия обрел свободу. В 1939-м был опять арестован и отправлен в колымские лагеря. Вернулся в Алма-Ату больным, истощенным в 1943 году.

Передо мною частица семейного архива, которую сохранил кузен моей жены, сын погибшей Натальи — биолог, вдоволь натрудившийся в Пущине. По-домашнему — Лелик.

Вроде бы не шибко я слабонервный, но, прочитав снова, да еще на ночь эту частицу архива, долго ворочался с боку на бок.

Расположу документы, подчинившись хронологии.

1. Треугольник военного времени. Отправлен 3 августа 1943-го со станции Средняя Белая Амурской ж/д. Почтовый ящик лагеря — 259/4. Толстая желтая бумага — в нее селедочные хвосты заворачивать. Исписана густо, взахлеб. Начинается с просьбы к дорогой мамочке, почти молитвы — вкладывай листик почтовой! А иначе — как отвечать? Пока зэк добывал бумагу, от матери пришло второе письмо, отправленное в Магадан 5 сентября 1941-го. Счастье, что добралось до сына через два года. Письма Домбровского из Владивостока, Хабаровска, Инты (четвертое название стерлось) до Москвы вряд ли дошли. От пересказа пока воздержусь. К треугольнику подклеено уведомление почтальонши: “Не достучалась. 8.X”.

2. Второе письмо уже с воли. Конверта нет. Два серых тетрадных листка. Дата — 24 сентября 1943-го. Но единица перед римской десяткой зачеркнута. Адресовано матери. Через пять лет после смерти Иосифа Домбровского Лидия Алексеевна в 1928-м вышла замуж. За коллегу. Николай Федорович Слуцкий — биолог широкого профиля. Читал лекции в МГУ, заведовал кафедрой в фармацевтическом институте. Одной из его гимназических учениц была Мариэтта Шагинян. В ноги поклонилась учителю в мемуарах. Назвала его душкой. Когда в Кремле антикварную мебель начал жрать жучок, для расправы над ним Сталин вызвал к себе лучших специалистов. В их числе — “душку”. Отчим был замечательный, но в отличие от сестрицы Натальи, пасынок всегда проявлял строптивость. С юности выкидывал лихие коленца.

3. Телеграмма из Алма-Аты, доставленная в Москву 18 января 1944 года: “Выписался (из больницы. — *М.К.*) четырнадцатого ноги отнялись карточки нет помощи существенно положение катастрофическое...”

4. Малограмотная справка, выданная 2 июня 1955 года при освобождении из лагеря (СССР. Министерство юстиции. ИТЛ ВП-120/2). В справке сообщается, что гражданин Домбровский был приговорен Алма-атинским облсудом 13 августа 1949 года по ст. 58-10 УК к лишению свободы на 10 лет. К поражению в правах на три года. В прошлом имел судимость. По постановлению Президиума Верховного Суда Казахской ССР от 15 марта 55-го срок снижен до шести лет. Поражение в правах на три года после его отбытия сохранено. Справка видом на жительство не служит. При утере не восстанавливается. 5-1-АА. Дает право Домбровскому следовать к избранному месту жительства в гор. Талдом Московской области.

5. Надзорная жалоба прокурору Союза ССР. Без даты. Перед глазами у меня четыре странички, в которых безумие следствия помножено на безумие жалобщика. Окончание скорее всего утеряно или порвано. Но если продолжение следовало, нельзя допустить, что эта “надзорная жалоба” была прокурору Союза отправлена. Скорее всего ее второй или третий вариант. Развернутые доказательства в защиту такого вывода придется отложить до другого случая. Краткие соображения — ниже.

6. Дополнения к надзорной жалобе, отправленные “Генеральному прокурору Союза” уже из Москвы, перепечатанные на машинке. Дельные. Трезвые.

7. Выписка из приказа N№ 66 по Центральному музею Казахстана. Приказ отдан 26 августа 1939 года. Из него явствует, что Домбровскому, научному работнику исторического отдела, предоставлен дополнительный отпуск — от 20 августа до 20 сентября. На лечение. Без сохранения содержания. С условием обязательного предоставления справки от врачебного заведения о пройденном курсе лечения. Подпись:

и.о. директора С. Кротов. Алма-Ата. (Похоже, что бумажка не липовая. Как видно, основания для отправки Домбровского на лечение у С. Кротова накопились весомые.)

8. Обрывая перечень, использую в качестве эпилога еще один документ: “Семейный портрет”. Карандашный рисунок, на котором изображены Наталья, попугай Яша (“строгий, но справедливый”), кошка Епифания, безымянная крыса, галчата, девочки Таня, Марина, наконец, “сам Юрий Осипович”. На обороте пронзенное стрелой сердце. К нему пририсованы тельце, ножки, уши. Внутри него — лицо интеллигента в пенсне, с усиками. Вверху — лирическая надпись: “Это мое сердце”.

Убежден: документ вполне исторический. Точную дату указать не берусь, но нет сомнений: вполне идиллический “семейный портрет” Домбровский набросал до первого ареста. Еще в двадцатых.

* * *

Догадываюсь, что первое лирическое отступление нужно, безусловно, кончать. И пока дойдет очередь до второго, надо переходить в наступление. Вовсе не лирическое: от домашней идиллии к трагедиям.

В письме от 3 августа — горькие строки о смерти няньки. В ее смертный час никого рядом не оказалось. Домбровский признается: сейчас, когда вспоминает ее, не может сдержать слез. И признает, что на 90% в ее смерти виноват он, “забалдуй”. Если бы не арест...

Сообщает, что вторично активирован из-за приступов эпилепсии, с потерей сознания. Начальник санчасти (над ним уже никого) обосновал заключение, подписал его самолично. Кто теперь опровергнет, что Домбровский к труду неспособен, что болен неизлечимо?..

Вспоминает эков, отбывших срок, когда шла война, и на годы задержанных в лагере — “до особого...”

Без подписи гражданина начальника свобода не улыбнулась бы. Низкий поклон и эпилепсии, и высокой инстанции. Но голова Домбровского опять раскалывается от тревоги: завтра выпрут из лагеря — и куда деваться? Лазарет жизнь спас, на общих работах давно бы отдал концы, а вот завтра — кто и где нальет в миску черпак баланды?

Самая настойчивая просьба к матери: хлопочи! Требуй пересмотра дела. Полной реабилитации! От отчаяния Домбровский наивен. Готов поверить, что добиться ее сейчас легче, чем когда-либо. Долбит, что в ней спасение, что факты, факты сами говорят за себя.

Читать эти строки тяжело. Представляю, с какой болью воспринимала Лидия Алексеевна требования сына. С какой болью воспринимала бы их моя мать, обивавшая все пороги, когда вышла из лагеря и тайком, со страхом пробиралась в Москву, а я начинал собственный срок. Совсем другой срок, отмеренный в другое время и полностью исключавший, что свет пробьется в конце туннеля.

Не только отчаяние побуждало Домбровского лукавить себе и матери, настаивать: пересмотр дела возможен! В напечатанных гораздо позднее мемуарных страницах Домбровский, по мотивам понятным, более сдержан, чем в письмах 1943 года.

К страницам, напечатанным в собрании сочинений, добавлено несколько штрихов.

Григорий Степанович Медведев, перед арестом редактор газеты “Турксиб”, в 1938 году подписавший дикие протоколы, которые навязал ему следователь, был осужден — по словам Домбровского — на 15 лет. И этапирован на Колыму. Однако же получил реабилитацию. Мало того, восстановился в партии. Стал редактором газеты 8-й гвардейской дивизии. В деле речь шла также об Иване Петровиче Шухове — о почти знаменитом, получившем поддержку Максима Горького, затем опальном и снова почтенном — о главном редакторе “Простора”, лауреате Государственной премии Казахстана. И о Павле Кузнецове, переведившем стихи Джамбула верстами, корреспонденте “Известий”. Но ни Шухов, ни Кузнецов арестованы не были. Так в чем состоял криминал Домбровского? Глупый вопрос. Вел же он “планомерную диверсионную работу”, устраивал пьянки, во время которых антисоветчина переливалась через край. Вел. Конечно, вел.

Сюжет известный. Весною 1938 года был арестован Николай Заболоцкий. Влепили ему “пятерку” как участнику контрреволюционной организации. Серьезной организации, поскольку во главе ее стоял Николай Тихонов. Между тем Тихонов делал сверхкарьеру, руководя Союзом писателей, Комитетом по Ленинским премиям, заседал во всех “советах”, получал все мыслимые награды.

Не исключено, что Медведеву крупно повезло. Что он попал в мини- и микрооттепель, когда органы, утомившиеся под командованием Николая Ежова, попали в нежные руки Лаврентия Берии.

У Домбровского нет к Медведеву ни малейших претензий. Степану повезло. Юрию — нет.

Юрия мучил второй пункт обвинения. “Научный” — и оттого куда более безрассудный, чем первый.

Отрабатывая ставку в музее, Домбровский проводил по нему экскурсии. Объяснял несмышленишам, как и когда человек произошел от обезьяны. Подчеркивал в этом процессе роль труда. Говорил о веках, эпохах, расах... Но как же обойтись без накладочек? Среди дорогих гостей и коллег непременно отыскался бы добрый знакомый третичных предков. Их личный друг.

Немыслимо повторять здесь оправдания Домбровского, как видно, решившего добить прокуратуру костями питекантропов, а трупы утопить в своей эрудиции. Пусть хоть на дне ее поверят, что Энгельс гениально вывел общий закон диалектического развития и никаких расхождений с Энгельсом у него, Домбровского, нет, нет и нет.

Каждому слову верю. И подписуюсь, потому что гнить в магаданских, интинских, тайшетских бараках, дышать смрадом помирающих доходяг и своим собственным, знать, что в этом смраде подохнешь, — тяжело. Особенно если в висок день и ночь стучит: а подельники на воле! И засыпают, продирают глаза, выпивают, не ведая, сколько про них наворочено в следственных протоколах. Тут не только прокурору Союза, тут Карлу Марксу и самому Чапаеву сварганишь надзорную жалобу.

Но довольно о ней. Нет, еще одно размышление насчет анкетных противоречий. В трех досье Домбровского указаны три разных национальности. Неизбежны вопросы: зачем менял их? В каком порядке?

Сопоставление справок и документов побуждает выработать гипотезу.

В 1932-м необстрелянный еще узник бесхитростно указал, что он иудей. Естественно. В ту пору национальность определялась по отцу. К слову, молодой и зеленый знал, что настоящее отчество покойного отца не Витальевич, а Гдальевич. Честное иудейское!

Почему же во втором деле указано, что арестованный — поляк? Вот как раз потому, что емушили уже второе дело.

Мог ли Домбровский не ощущать изменений общественных, политических? И наверху, и внизу. 1939-й — это поворот на дружбу между Гитлером и Сталиным. Это раздел Польши, заглот Прибалтики... Для ученого экскурсовода, подчеркиваю, хлебнувшего баланды, разумеется, не прошли бесследно убийство Кирова, высылки из Питера, московские процессы, повальные аресты.

Нет нужды устанавливать прямую связь между событиями глобальными и обновленной национальной версией узника. Какой-нибудь кухонный мыслитель из стана крикливых, давний симпатизант “Памяти”, РНЕ, наверное, готов сейчас занять позиции ортодоксального иудея, чтобы яростно уличать: “Отрекаетесь, суки! Следы хвостом замечаете! Не выйдете!”

На всякий случай извещаю: иудейские ортодоксы устанавливают национальность дитяти не по отцу, а по матушке. С их точки зрения, сынок чисто русской Лидии Алексеевны тоже русак.

Больше смущает другое. Отчего редкостный эрудит Юрий Домбровский вдруг позабыл о сравнительном анализе; вникал же в труды компаративиста Веселовского... Отчего запомнил, что проходил уже по делу как иудей? От склероза его до последних дней отделяли тысячи верст. Неужто он исключал вероятность алма-атинского запроса: “Эй, Москва, перешли первое досье в Казахстан, я найду истину”?

Есть логика элементарная, а есть державная. Умудреннейший из болванов покорился бы логике элементарной. А умница Домбровский правильно решил: его личный Шерлок Холмс пробиваться к истине не будет. Попросту не посмеет. Кто такая Алма-Ата, чтобы приказывать Москве суетиться? Еще разгневется и соизволит повелеть: Шерлока Холмса вместе с доктором Ватсоном в камеру Конан Дойла! Чтобы не пудрили мозги. В кондей их всех — отыскивать истину.

Разгадывать ее, суша мозги, действительно нет смысла. Ясно же: к проблеме “пятого пункта” Домбровский в 1939-м уже приобщился. Ясно, отчего в 1955-м в справке, выданной для проезда в Талдом Московской области, освобожденный зэк аттестован воистину справедливо — как русский. Отныне и в паспорте, и во всех сводках он будет значиться русаком. Точка?

Нет, запятая. Была у Домбровского и четвертая национальность. С переливами и оттенками.

Войдя в его первую, отдельную, стандартную тесную квартирку на улице Просторной, каждый гость, поднявшийся на девятый этаж, сразу бы понял, что владелец этой двухкомнатной, преподнесенной Союзом писателей, — насквозь православный. Иконы... И немало. И вроде бы неплохие... И любимая женушка, окольцевавшая в Алма-Ате коренного москвича, казашка Клара Файзуллаевна, в пристрастии супруга к православию усомниться бы не позволила.

Когда-то я встречал на Просторной Дмитрия Дудко. Священника. Встречал до его второго ареста и телеэкранный покаяния. В семидесятых среди приятелей Домбровского православных евреев стало побольше, чем раньше. Привет им от протестанта Карла Маркса, от католика Генриха Гейне...

Опять возникают вопросы. По вековым традициям, верность устоям, канонам — пускай догматически узким — считается достойней, чем бескрайняя широта. Одно дело — безразмерные носки и нечто совсем иное — убеждения без берегов.

Железный занавес необязателен, но границы должны быть защищены. Иначе святую истину не отделить от заблуждений и подлого обмана. Человек и народы, острова и континенты не ликуют, когда их облапошивают. Предваряя допрос, Высокий Суд, как известно, требует “правды, только правды, ничего кроме правды”.

— Ваша честь, да пошел ты подальше, — тоже вправе рубануть наш совковый сиделец, взятый за шкуру. — Сначала докажи, что сам ты целочка, а потом требуй от меня девственности.

Тертый российский зэк в сердцах проклянет и обматерит того, кто на допросе размажет лапшу по морде, раскиснув от искренности. Совершенно искренно сочтет он правдеча недоделанным, недобитым фраером, дешевкой, лопухом. Нравственных претензий к вранью на допросах тертый зэк не предъявит. На войне как на войне...

Когда Домбровский умер, Чабуа Амирэджиби, прилетавший на похороны из Тбилиси, Андрей Битов, Юз Алешковский, еще не подавшийся в эмиграцию, но до нее дозревший, решили, что отправляться на Просторную — в тесноту — вряд ли стоит. Приехали мы в ЦДЛ, заняли у окна Дубового зала столик. Помянули по-нашенски: трое бывших зэков и питерский дворянин. Помянули вольного, бесстрашного, великого Мастера.

Так что за четвертая национальность?

Услышав впервые из уст Домбровского о его цыганских корнях, я подавил улыбку. Вдоволь наслушавшись тюремно-лагерного трепа, давненько пришел я к выводу, что зэки врут покруче, чем рыбаки и охотники. Врут не все, не всегда, однако же, образуя в России мощный народный пласт, и не случайно, а по мотивам историко-социально-психологическим. Согнутым в три погибели необходим реванш. Как в глазах счастливых, кому до сих пор везло проскакать мимо тюрьги, так и в собственных, потускневших. Униженным и оскорбленным надо оставаться личностями.

Загрянув в лагерь, молодой лейтенант, как правило, жаждет себе присвоить звание капитана. А хорошо бы майора. Командир полка раз-другой нечаянно вспоминает, что приходилось командовать корпусом. А отсидев пяток или семь—девять годков, начинает в это твердо верить. И не пробуй его опровергнуть.

Из хорошо известных мне по лагерю и по воле зэков-писателей, пожалуй, самым неистовым фантазером был Белинков Аркадий Викторович. Сорок раз помиравший инвалид, физически не способный “придуриваться”. Совершенно напрасно, заведомо ложно, допустим, в угоду своей концепции (“Двести лет вместе”) обвиняет его в этом умело и непременно (в шараге, в Экибастузе) придуривавшийся Александр Солженицын.

И Белинков, автор яростных книг о Тынянове, об Олеше, и Домбровский сохранили в лагерях свою жизнь благодаря духовному стержню, близкому к жизнестойкости Дон-Кихота. И в значительной степени — благодаря немощной плоти, загонявшей в инвалидные бригады и лазареты.

Но в отличие от Белинкова, литературоведа, публициста, Домбровский был не только прозаиком, но и поэтом. В его стихах — жажда героики, безудержная отвага, гулаговская романтика — похлеще мушкетерской. Увы, увы. Самые д,артаньяновские стихи у него иногда пасуют перед натиском реальных подробностей.

Не хочу на них останавливаться. Задержусь на вопросе более модном.

Годы назад раскрыл я шестой, итоговый том посмертного собрания сочинений Домбровского (М.: Терра, 1993). Раздел “Статьи, очерки, воспоминания” принял как царский подарок. Знал я многих, о ком — и кому — здесь пишет Домбровский:

питерского профессора Наума Берковского, скоротавшего года два в Алма-Ате; московского режиссера Леонида Варпаховского, по воле судьбы колымчанина и, к счастью, снова москвича, почти соседа — жил в высотке у Красных ворот...

Есть в разделе то ли очерк, то ли статья с уклоном в воспоминания: “Цыганы шумною толпой”. Опубликовано О. Мизиано через пять лет после смерти Домбровского в журнале “Вопросы литературы” (1983, N№ 12). Написана в середине шестидесятых по заказу АПН для читателя зарубежного.

Философски-исторический очерк великолепного знатока отечественной и мировой классики убедил, что для Домбровского “цыганство” — это позиция. Политически взвешенная. Выстраданная нравственно. Подтвержденная золотым веком русской литературы, творениями Пушкина, Достоевского, Лескова, Толстого, Горького... “Цыганство”, не менее криминальное для Гитлера, чем еврейство, — символ непокорности и свободы; во все века, от всех империй. Символ следует трактовать широко — но лучше не трактовать, а идти за Домбровским след в след, предлагая длинные выдержки.

Колеблюсь. А вдруг господа ученые из партии “Родина” решат, что я заподозрил их в незнании Пушкина и Толстого? Или в том, что русской классике предпочитаю ущербных Сервантеса и Мериме? Ни Боже мой! Но мне действительно невдомек, какую категорию гражданства доктора расовых наук преподнесут эфиопу Пушкину, шотландцу Лермонтову? Не рискую продолжать опасно длинный перечень до иудея-поляка-русского-цыгана Домбровского.

III

Заглядываю в послесловие к “Острову Буяну”. Там я писал, что в архиве Злобина сохранилось письмо Лидии Чуковской, отправленное 27 сентября 1962 года. Надежда увидеть “Софью Петровну” опубликованной у автора уже иссякла, но позиционная война за повесть еще предполагалась.

“Дорогой Степан Павлович! Доведется ли мне увидеть мою повесть напечатанной, нет ли — но Вашего письма, Вашего горячего отклика, Вашей боевой готовности я никогда не забуду. Спасибо Вам... Читать ли в Союзе? А может быть, не читать, а обсудить, предварительно размножив и разослав членам Бюро? И редакциям журналов “Знамя”, “Москва” — и “Литер. газеты”?.. Во всех этих вопросах я совершенно полагаюсь на Вашу энергию и такт. Крепко жму руку. Ваша Л. Чуковская.

P.S. прилагаю рецензию Твардовского”

Написанная по горячему, верней, по раскаленному следу Большого террора, “Софья Петровна” поистине чудом спаслась в тридцатых, выжила в подковерных схватках оттепели и заморозков, бесспорной победой завершила свой марафон. От пересказа повести, известной “на всех широтах”, воздержусь; на первое отечественное издание я откликнулся рецензией в “Новом мире” (1988, N№ 11).

Однако же подойду к повести с той стороны, которая оставалась в тени и для Лидии Корнеевны, и для Злобина, и для меня, рецензента. Подчеркну: со стороны модной!

Трагедия Большого террора всегда и всюду расценивалась как общенародная. Подходить к ней прежде всего с точки зрения национальной показалось бы раньше безнравственным. На Кузнецком мосту, д. 24, где выдавали справки об арестованных, вряд ли кому-нибудь в голову приходило подсчитывать, сколько в чудовищной очереди жен кавказской

национальности, сколько матерей и детей еврейской, латышской... Кого больше — православных или же мусульман? Многогонное горе отделяло тех, кто сидит, от тех, кто сажает. Оно объединяло жертв. Создавало “советский народ”.

Поддерживая “Софью Петровну”, неужто Злобин мог бы додуматься до вопроса, всплывающего нынче при оценках чуть ли не каждого автора: “А сам-то он из каких будет?”

Так и быть, пойду навстречу пожеланиям шибко трудящихся на ниве фашистской идеологии. Совершу пробежку по лесочкам да полянкам нашей словесности: в самом-то деле — “из каких?” Паспортов и метрик ни у кого не потребую, обзванивать отделы кадров рука не подымется. Анкетирова знакомых, положусь только на память. Если вдруг ошибусь, то, уверяю, не по злему умыслу. Простите Христа ради.

Мать Корнея Ивановича — славянка. Сам он — полукровка. Но, следовательно, дети его, рожденные Марией Борисовной, с точки зрения поборников чистоты крови, — русские или украинцы лишь на четверть. Внучка Елена Цезаревна — на осьмушку. Нет, однако, другой литературной династии, которая совершила бы вклад в русскую и одновременно в российскую словесность, равный вкладу династии Чуковских. Вкладу в детскую литературу, в мемуарную, переводную, в критику и публицистику. Пытаюсь прикинуть сейчас на глазок тиражи сказок, переиздания однотомников, двухтомников, собрания сочинений — и застреваю на “Чукоккале”. В Италии напечатано сейчас фантастическое ее издание, первое полное, факсимильное, в двух томах, штучное. Тираж его — 117 экземпляров. Вес, наверное, полпуда. Таких изданий в нашей словесности не было. Без всяких оговорок: вся Чукоккала — без кавычек! — это подвиг грандиозный, истинно патриотический. Это памятник на века. Гордость русской культуры. Я промолчу сейчас о деятельности рода Чуковских, которая не измеряется цифрами и знаками. Но как знать, уступит ли она по гражданской весомости томам, учтенным в библиосправочниках?

Если где-нибудь затаился великий спец, склонный меня поправить, пускай рискнет. Сверим часы.

Час от часу не легче. В мозгах цепная реакция...

С Екатериной Фердинандовной я познакомился задолго до того, как Александр Исаевич женился на ее дочери — Наталье Дмитриевне. Никогда сомнений не возникало, что “пятый пункт” Екатерины Фердинандовны четок, как желтая звезда на одеждах обитателей гетто. Что касается фамилии, то лично известные мне Светловы, начиная с любимого Михаила Аркадьевича, поводов для уточнения достаточно криминального пункта не давали. Не исключаю, впрочем, что дело не в поводах, а в отсутствии у меня особого любопытства. Учинять допрос в голову не приходило. Так же, как утверждать, что “Светлов” — фамилия иудейская. Независимо оттого, кто был отцом Натальи Дмитриевны — да хоть бы потомок Ганнибала, — сыновья Александра Исаевича иудейской нитью повязаны прочно!

Теоретик патриотизма Александр Ципко, в чьих жилах, как выяснилось на телепередаче “К барьеру!”, течет и латышская кровь, вправе, следовательно, реализуя Любимую Идею, отлучить сыновей Солженицына от России.

Мысль тем более интересная, что не слишком противоречит раздумьям Александра Исаевича в наброске “Евреи в СССР и в будущей России”, изрядная часть которого включена в двухтомник “Двести лет вместе”.

Прорабатывая административное решение национальной проблемы для рожденных в России детей от смешанных браков, Солженицын использует, как сказано в тексте, формулы “алгебраические”. В чем их суть?

На второй день после освобождения Святой Руси от сатанинской власти всем евреям, мечтающим покинуть родину, — скатертью дорога. Прекрасно, вольному — воля. Мерси боку. Но с точки зрения государственной, политически-трезвой, боюсь, что дозволение это продиктовано слишком доброй душой. Да и нравственно дозволение оскорбительно для всех евреев — мечтающих и не склонных к бегству. Разгневанный хозяин словно дает холую коленом под зад: “Пшел вон...” А среди них — Харитон, Иоффе, Ландау, Зельдович, Ванников, если взять наугад пятерочку из тысяч евреев, поработавших на отечественный атом. Обеспечивших державе полвека гордой неприступности в холодной войне.

Не единым атомом жива Россия. Среди ее спасителей авиаторы. Из тысяч выберу наугад дважды Героя Соцтруда, чл.-корр. АН СССР, создателя истребителей и реактивных самолетов Семена Лавочкина; не прощу себе, если не назову сейчас имя Героя Советского Союза, легендарного летчика-испытателя, доктора технических наук, писателя Марка Галлая. Любимая птица-тройка стучит копытами: отчего забыт бог вертолетов Миль?

К сожалению, вынужден опустить здесь имена ракетчиков, создателей танков, фронтовых хирургов, спасших тысячи защитников Родины. Утешаюсь тем, что они широко известны. Не менее известны, чем имена светил медицины, получивших после Победы титул “убийц в белых халатах”.

Вспоминаю, пригнали в Майкудук (Песчанлаг) инженерную элиту автозавода имени Сталина. Великий кормчий хотел пристегнуть ее к делу Антифашистского еврейского комитета. Выдать каждому по девять граммов. Не клеился Большой процесс, несмотря на три года усилий. Влепили заводским “врагам народа” по 25, приютили в ГУЛАГе.

Как замечаю, ЗИСы и ЗИЛы запросто обгоняют сейчас и “Вольво”, и “Мерсы”, и прочие “Феррари”.

Гитлер работал без сантиментов. Вынуждены были покинуть Германию Эйнштейн, плеяда физиков, математиков, заодно и Томас Манн, женатый на еврейке, Ремарк, Фейхтвангер...

Как убедилась в мае 1945-го, но теперь уже плохо помнит склеротическая планета, эксперимент фюрера “крепко помог” немецкому народу покорить остальные, не так ли?

Для тех же евреев, которые не захотят расстаться с Россией и объявят себя искренно, “по душе”, без оглядки на Израиль, русскими, набросок 1968 года предлагает проверку “делом”. Искалеченных дорог, разоренных деревень в российской глухомани навалом. Так берись, иудей, вкалывай. Киркой и лопатой доказывай свою искренность, причем, не в субботник или воскресник, а на протяжении “скольких-то лет”. Тогда заслужишь титул “полного гражданина” новой России. Честно заслужишь, не пробиваясь во власть, в элиту, не захватывая чинов и званий.

Ей-ей, совершенно искренно не понимаю Александра Исаевича. Он же кончал университет, рвался в актеры, поступал в ИФЛИ, стал Нобелевским лауреатом. Не может ведь он не знать, что труд землекопа по своему КПД в странах технически развитых давным-давно приравнивается к нулю. Не может не знать, что единственное спасение России — в расчистке простора для ее талантов. В развитии и защите ее культуры.

Не понимая лауреата, я вместе с тем отношусь к намеченной программе чрезвычайно серьезно.

Публицисты ссылаются на итоги опросов, проводимых социологом Марком Урновым. Одна из тем: “Радикальный авторитаризм в российском массовом сознании”. Об итогах опросов сообщал, к примеру, Леонид Радзиховский. Обращаюсь к его “колонке обозревателя” (“Еврейское слово”, № 19, 2004).

За ограничение права жить в России кавказцам высказалось 60%. Против — 30%. К выходцам из Средней Азии отношение помягче: наложить ограничения склонны 47%, обойтись без них готовы 38%. Евреям несказанно повезло. Ограничения их права на жительство требуют 28%, против ограничений выступают 54%. Вдвое больше! На ограничении влияния евреев в органах власти настаивают 35%; в политике — 33%; в бизнесе — 22%; в образовании — 10%; в шоу-бизнесе — 8%; в медицине — 7%. Всего за ограничение влияния выступают 42%. Против любых ограничений — 35%...

Воздержусь от комментария, поскольку он требует обширного экскурса. Но краткий вывод Леонида Радзиховского процитирую: “Национализм + социализм = национал-социализм. Вот чем беременна Российская республика. Нас защищают высокие цены на нефть и здравый смысл власти”.

Уклонюсь, пожалуй, от споров с политиками и публицистами. Совершенно искренно и конкретно-практически хотел бы представить себе, как проводить национальные ограничения в сфере литературной, в кругу гораздо более узком, знакомом мне лично...

Как говаривал Н. Эйдельман, “шухочки в сторону”. Похоже, что есть две надежды у России — экономящий по рублю на каждом из уцелевших эзков вице-спикер Жириновский и первый мыслитель Думы Макашов. Если их воплям поверить, то надо отбросить жалкие полумеры. По высшей их справедливости, по их уставу надо гнать из русской культуры не только Аксенова, Войновича, Владимова, Юрия Давыдова, но и: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Фета, Даля, Пастернака, Мандельштама, Ахматову... Сколько там еще сброда осталось?

Боюсь оспаривать: призыв истинно патриотичный! Настаиваю: лишь их жесткий приказ спасет многострадальную Русь, вознесет на облачную высь Патриа-Культуру.

В день похорон Татьяны Бек, кстати сказать, не чистокровной, не полукровки, а “чекушечки”, каюсь, не достало у меня силенок отправиться на Безбожный — ныне Протопоповский — почтить память Олега Васильевича Волкова. Именно в этот день исполнилось десять лет со дня смерти бывшего эзка с двадцатисемилетним гулаговским стажем (половина пришлась на тюрьму и зону, половина — на ссылку). Взять копейку с родной державы за пять реабилитаций Олег Васильевич гордо и гневно отказался, но пять бумажек сберег, поместил под стекло, обрамил, повесил на стенку.

Нет сомнений, что если бы Волков дожил до телепередачи “К барьеру!”, то голос бы подал за космонавта Алексея Леонова, а его превосходительство генерала в прихожую не пустил бы. Потомок семи адмиралов “из принципа” настоял, чтобы я писал предисловие к его “Избранному” (М.: Худ. лит., 1987), послесловие к “Погружению во тьму” (М., 1990).

Видимо, удивился бы он, что я сейчас мараю размышлизмы о Макашове. И любимый племянник Олега Васильевича, художник, а когда пробил час — предводитель Дворянского собрания князь Андрей Голицын тоже удивленно поднял бы бровь: “Макашов — патриот?” Полагаю, бурно не возражал бы против мнения, что обоих светочей пора загнать под нары во имя чести России, при этом корректно рекомендуя “не попердывать!” Впрочем, оставим в покое честь и мораль, идеи и догматы веры: экология требует!

Никогда не поверю, что Олег Васильевич, забыв о поколении родичей своих, сгинувших в неволе, решил бы вновь заслать меня в “северное сияние”, на медные рудники или каменные карьеры. Да еще потребовал бы расписку за старую, проржавевшую тачку, за телогрейку с заплатами и номерами. Скорее всего огорчился бы, что сдаюсь на милость склероза. Ведь только что я делился радостью: на письменный стол лег дареный сборник Андрея Туркова “Время и современники” (М.: Новый клич, 2004). Только что млел я от удовольствия: каждая страничка в нем — маслом по сердцу. Пересказывал незаезженные цитаты — из Ключевского и Бердяева, Франка и Федора Степуна... Поражался, что, отменно владея Высокой Культурой, автор находит в себе силы вступать в полемику с культуртрегерами квасными.

IV

Всему миру известна “Аллея праведников”. В Израиле пестуют ее, оберегая память о благородных и смелых, рисковавших собственной жизнью, чтобы спасти от гибели обреченных на смерть.

Ни в одной стране не создана “Аллея подонков”.

Степан Злобин — праведник. И Юрий Домбровский, и Евгения Гинзбург, и Лидия Чуковская, и Анастасия Цветаева, и Борис Чичибабин — праведники.

Ровно двадцать лет назад — 9 мая — бывший пленяга, возвращенный в армию, писал из Берлина в Москву Галине Николаевне, дорогой женушке: “Кому я пожал бы руку сегодня, это Эренбургу, крепче, чем всем другим”. И в другом письме, от 23 мая, повторил: “Эренбург — прав миллион раз”. Добавил: надо три года пробыть в плену, чтобы это понять... Сделал оговорку: это не значит, что я не понимаю политики. Без всяких указаний ЦК ВКП(б) я вел ту политику, которую указал Александров. Однако “политика — это одно, а чувства... Этого словами не скажешь — надо самой почувствовать”...

Когда Сталинский лауреат Степан Злобин в тяжелейшие годы возглавил в Союзе писателей секцию прозы, к нему потянулись таланты зажатые, униженные, оскорбленные. Ни от кого он не требовал, чтобы сначала раскрыли паспорт.

Оттепельно-молодого, почти дерзкого Васю Аксенова председатель секции поддержал. Григория Бакланова защищал. Андрея Вознесенского — когда били. О Юрии Давыдове сказал мне: обрати внимание, хорошо бы в печати откликнуться. Я откликнулся трижды; не оттого, что боялся ослушаться, что поспешал услужить.

Когда страсти разгорелись вокруг романа Владимира Дудинцева “Не хлебом единым”, Злобин умно возмущался, что книгу, направленную — “по-ленински!” — против бюрократов, книгу, представляющую собой отклик на решение партии ликвидировать последствия “культы личности”, — такую книгу Дроздовы (персонаж романа. — М.К.) хотят скрыть от читателя. “Трепещи за себя, за свою касту”, Дроздовы загоняют советскую печать в “полуподпольное существование”

В архиве Злобина хранится черновик его статьи о “Бабьем Яре” Евтушенко. Сейчас не установишь, кому из газетчиков предлагал Злобин свой отклик. Видимо, безуспешно. Но главная его мысль ничуть не устарела:

“Мы ничего не слышали о том, что французский офицер Дрейфус выступал под “знаменем Давида”, как и его защитник Золя, как и защитник Бейлиса Короленко... Пощечина, наносимая антисемитам, есть пощечина, наносимая фашизму”.

Строго следуя алфавиту, думаю, удалось бы перечень подзащитных Злобина довести до Александра Яшина. Вывод напрашивается: отец башкирского Салавата и донского казака Разина, псковской Буян необходим “пропавшим без вести”. Необходим прозаикам и поэтам. Необходим России и любой стране — чтоб не пропали в одиночку. Незачем торговаться — сколько веков вместе. Два, пять, десяток! Главное, чтобы в третьем тысячелетии — не врозь.

5 марта 2005 г.

¹ Автор семисотстраничного тома — “Солженицын. Прощание с мифом” (М.: Яуза. Пресском, 2004), поражающего сведениями, рядовому читателю недоступными, — Александр Островский указывает “досветловскую” фамилию семейства Натальи Дмитриевны. Но ведь эта фамилия тоже псевдоним. До ивритских корней шагать тысячи лет...